

Илья Эренбург

тревога
за будущее

люди
годы
жизнь



Георгий Жуков, Максим Горький, Борис Пастернак, Илья Ильф,
Евгений Петров, Михаил Кольцов, Андре Жид, Василий Гроссман,
Константин Симонов, Всеволод Мейерхольд, Алиса Коонен,
Александр Таиров и многие другие



Илья Григорьевич Эренбург
Люди, годы, жизнь.
Тревога за будущее.
Книги четвертая и пятая
Серия «Люди, годы, жизнь»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30814912

Люди, годы, жизнь. Книги четвертая и пятая: АСТ; М.; 2018

ISBN 978-5-17-098146-5

Аннотация

В этом томе И. Эренбург рассказывает о событиях 1930-х годов: первом съезде советских писателей, международных антифашистских конгрессах писателей в Париже и в Испании, в которых автор принимал активное участие, о встречах с И. Ильфом и Е. Петровым, М. Кольцовым и А. Жидом, Э. Хемингуэем и А. Мачадо, о гражданской войне в Испании, страшном процессе над Н. Бухариным. А также повествует о годах Великой Отечественной войны и о своей огромной работе по ее освещению в прессе: цель Эренбурга была помочь стране победить врага. Читатель узнает о фронтовых поездках автора, его встречах с рядовыми воинами и знаменитыми военачальниками – Г. Жуковым, К. Рокоссовским,

И. Черняховским и Л. Говоровым, писателями К. Симоновым и В. Гроссманом, художником П. Кончаловским и многими другими.

Содержание

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь»	6
Книга четвертая	40
1	40
2	52
3	60
4	66
5	74
6	82
7	90
8	105
Конец ознакомительного фрагмента.	110

**Илья Григорьевич
Эренбург
Люди, годы, жизнь.**

Книги четвертая и пятая

© И.Г. Эренбург, наследники, 2018

© Б.Я. Фрезинский, подготовка текста, предисловие, комментарии, 2018

© РИА Новости, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла – к рукописи, от издания – к читателю)

*Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу...*
Илья Эренбург¹

Том второй (1934–1945)

Второй том мемуаров Ильи Эренбурга содержит воспоминания о наиболее близком для нас и едва ли не самом значимом, как принято теперь считать, событии XX века: Второй мировой войне (некоторые ее реальные участники живы до сих пор). Но эту эпоху предваряют предшествовавшие ей: победа Гитлера на выборах в Германии в 1933-м, гражданская война в Испании (1936–1939) и кровавые сталинские репрессии второй половины 1930-х годов. Второй том, однако, открывается рассказом о поначалу казавшихся вполне многообещающими Первом съезде советских писателей

¹ Из стихотворения «Люди, годы, жизнь» (1964).

(1934) и Антифашистском международном конгрессе писателей (1935).

Книга четвертая

Над четвертой книгой мемуаров Эренбург работал всю вторую половину 1961 года. По первоначальному авторскому плану четвертая книга посвящалась событиям 1934–1939 годов и должна была завершиться рассказом о поражении Испанской республики. В целом же именно испанским событиям, активным участником и свидетелем которых был Эренбург, предстояло стать главной частью четвертой книги мемуаров. Испанские главы Эренбург предварительно давал прочесть другим участникам и свидетелям войны в Испании – генералу армии П.И. Батову, кинооператору Р.Л. Кармену, писателю, адъютанту командира 12-й интербригады А.В. Эйсеру; и, конечно, вся рукопись была тщательнейше прочтена ближайшим другом автора О.Г. Савичем – корреспондентом «Комсомольской правды» и ТАСС на испанской войне.

Разумеется, Эренбург знал об испанской войне куда больше, чем написал. Но, понимая абсолютную цензурную непроходимость рассказов, скажем, о бесчинствах агентов НКВД, получивших в Испании право безнаказанно расправляться со всеми противниками Сталина не только в рядах интербригад, но и среди испанских левых, он мог упоми-

нать об НКВД лишь глухими намеками или в личных признаниях: «Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей – мы ведь все были участниками великого заговора молчания»².

Столь же сложным было и то, что Эренбург собирался впервые рассказать о пережитом им в Москве за те пять месяцев 1938 года, когда он дожидался разрешения вернуться в Испанию. Работа Эренбурга над главами о том периоде советской истории, что принято называть периодом массовых репрессий (в свое время в народе его наивно прозвали «ежовщиной»), удачно пришлась на пору XXII съезда КПСС, сообщившего советскому обществу мощный анти-сталинский импульс. Поэтому, когда в конце 1961 года писатель передал в редакцию «Нового мира» рукопись четвертой книги (31 глава), она сравнительно легко прошла и редакционную цензуру, и Главлит. Фактически было сделано всего две купюры – убрали сцену на даче у Горького, где члены Политбюро ругали Эренбурга за его роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца», и десяток строк о расстрелянном в 1939-м Антонове-Овсеенко³.

² См. наст. том. Книга 4. Гл. 31.

³ Ряд цензурных купюр в мемуарах Эренбурга опубликован нами помимо книжного издания в номере «Независимой газеты» за 29 января 1991 г.

Книга была принята редакцией и назначена к публикации на весну 1962 года, а Эренбург сразу же приступил к работе над пятой книгой, посвященной событиям Второй мировой войны. В марте 1962 года первые шесть глав пятой книги (о событиях февраля 1939 – июня 1941 года) были написаны и автор, решив изменить первоначальный план мемуаров, отправил их Твардовскому. Эренбург предлагал напечатать написанное начало пятой книги в качестве конца четвертой, с тем чтобы пятую книгу открыть нападением Германии на СССР 22 июня 1941 года. Дело, понятно, не в том, что он вдруг отдал предпочтение канонической советской периодизации исторических событий. Уже рассказав о времени, которое Эренбург вспоминал с отвращением, и подойдя к не менее тяжким событиям лета 1941 года, писатель безусловно ощутил, что они имеют для него совершенно иную психологическую окраску (свою работу в годы Отечественной войны у писателя было полное право вспоминать с гордостью). Возможно, имели место и соображения совсем иного рода – отделив повествование о Великой Отечественной войне от предшествовавших ей и закрытых для общественного обсуждения событий 1939–1940 годов, Эренбург облегчал прохождение через цензуру рукописи следующей, пятой, книги.

5 апреля 1962 года, когда начало четвертой книги уже было набрано для апрельского номера журнала, Твардовский написал Эренбургу: «Дорогой Илья Григорьевич! Я виноват

перед Вами: до сей поры, за множеством дел и случаев, не собрался написать Вам по поводу “пятой части” и оставил на рукописи по прочтении лишь немые, может быть, не всегда понятные пометки. Вероятно поэтому, Вы и не приняли некоторые из них во внимание. А между тем я считаю их весьма существенными и серьезными. Речь ведь идет не о той или иной оценке Вами того или иного явления искусства, как, скажем, было в отношении Пастернака и др., а о целом периоде исторической и политической жизни страны во всей его сложности. Здесь уж “каждое лыко в строку”. Повторяю мое давнее обещание не “редактировать” Вас, не учить Вас уму-разуму, – я этого и теперь не собираюсь делать. Я лишь указываю на те точки зрения, которые не только не совпадают с взглядами и пониманием вещей редакцией “Нового мира”, но с которыми мы решительно не можем обратиться к читателям.

Перехожу к этим “точкам” не по степени их важности, а в порядке следования страниц»⁴.

И далее следовал перечень замечаний, так или иначе связанных с темой советско-германского пакта 1939 года, о секретных протоколах к которому тогда в СССР знали совсем немногие.

Вот некоторые из категорических возражений главного редактора:

⁴ Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967 / Издание подготовлено Б.Ф. Фрезинским. М.: Аграф, 2006. С. 490–494; далее ПЗ и номера писем.

«Концовка главы. Смысл: война непосредственное следствие пакта СССР с Германией. Мы не можем встать на такую точку зрения. Пакт был заключен в целях предотвращения войны. “Хоть с чертом”, как говорил Ленин, только бы в интересах мира».

Или:

«Сотрудники советского посольства, приветствующие гитлеровцев в Париже. “Львов” <резидент ГБ в Париже. – *Б.Ф.*>, посылающий икру Абетцу <гитлеровскому резиденту в Париже. – *Б.Ф.*>. Мне неприятно, Илья Григорьевич, доказывать очевиднейшую бестактность и недопустимость этой “исторической детали”».

Или:

«“Немцам нужны были советская нефть и многое другое”... Это излишнее натяжение в объяснение того частного факта, который и без того объяснен Вами».

Или:

«“Свадебное настроение” в Москве в 40 г.? Это, простите, неправда. Это было уже после маленькой, но кровавой войны в Финляндии, в пору всенародно тревожного предчувствия. Нельзя же тогдашний тон газет и радиопередач принимать за “свадебное настроение” общества».

Или:

«Услышанные где-то от кого-то слова насчет “людей некоторой национальности” представляются для той поры явным анахронизмом».

Или:

«То, что Вы говорите о Фадееве здесь, как и в другом случае – ниже, для меня настолько несовместимо с моим представлением о Фадееве, что я попросту не могу этого допустить на страницах нашего журнала. Повод, конечно, чисто личный, но редактор – тоже человек».

Или:

«Фраза насчет собак в момент телефонного звонка от Сталина, согласитесь, весьма нехороша. Заодно замечу, что для огромного количества читателей Ваши собаки, возникающие там-сям в изложении, мешают его серьезности. Собаки (комнатные) в представлении народном – признак барства, и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его “эпатировать”».

И т. д.

Письмо Твардовского кончалось недвусмысленно:

«Может быть, я не все перечислил, что-нибудь осталось вне перечня. И среди перечисленных есть вещи большей и меньшей важности. Но в целом – это пожелания, в обязательности которых мы убеждены, исходя не из нашего редакторского произвола или каприза, а из соображений прямой необходимости.

Будьте великодушны, Илья Григорьевич, просмотрите еще раз эту часть рукописи».

Эренбург ответил на это 10 апреля 1962-го: «...Некоторые из Ваших замечаний меня удивили. Я знаю Ваше доб-

рое отношение ко мне и очень ценю, что Вы печатаете мою книгу, хотя со многим из того, что есть в ее тексте, Вы не согласны. Знаю я и о Ваших трудностях. Поэтому, несмотря на то, что Вы пишете, что изложенные Вами “пожелания, в обязательности которых мы убеждены”, я все же рассматриваю эти пожелания не как ультимативные и потому стараюсь найти выход, приемлемый как для Вас, так и для меня»⁵. Далее следовал перечень пятнадцати уступок с припиской: «Поверьте, что я с моей стороны с болью пошел на те купюры и изменения, которые сделал. Я могу в свою очередь сказать, что в “обязательности” оставшегося убежден. Ведь если редакция отвечает за автора, то и автор отвечает за свой текст. Я верю, что Вы по-старому дружески отнесетесь и к этому письму и к проделанной мной работе». На этом исправления текста были завершены⁶.

В итоге все 37 глав четвертой книги были благополучно напечатаны в 4–6 номерах «Нового мира» за 1962 год.

Главу о венгерском писателе Мате Залке, воевавшем и погибшем в Испании под именем генерала Лукача, Эренбург напечатал предварительно в «Правде»; в архиве писателя сохранилась также верстка из «Иностранной литературы»» 23-й главы под названием «Эрнест Хемингуэй», однако ее пуб-

⁵ *Эренбург И.* На цоколе истории: Письма 1931–1967. / Издание подготовлено Б.Я. Фрезинским. М.: Аграф, 2004. С. 520–525. Далее П2 и номера писем.

⁶ Авторский текст был впервые восстановлен в бесцензурном издании мемуаров Эренбурга в 1990 г.

ликацию из номера сняли.

В критических обзорах о четвертой книге «Люди, годы, жизнь» появились благожелательные упоминания; в их ряду стоит отметить слова М.М. Кузнецова: «Это весьма своеобразное художественное произведение, основной стержень которого – размышление о прошлом и настоящем, раздумье над историей для понимания сущности человека завтрашнего дня. Это – мемуарный роман нового, современного типа <...> Перед нами роман, претендующий на то, чтобы дать портрет века. Судеб искусства и гуманизма...»⁷

Читали мемуары Эренбурга и русские политические эмигранты за рубежом; читали, подчас очень приблизительно понимая содержание тогдашних политических процессов в СССР. У старой, еще дореволюционной части политической эмиграции были давние счеты с Эренбургом (давным-давно ими зачисленным в «советские писатели»). Конечно, их тоже интересовали перемены в СССР, о градусе которых, как они считали, можно будет судить по тому, что позволит себе написать в мемуарах Илья Эренбург. Были надежды, что эти перемены окажутся значительными, а из того, что реально ему позволили, стало ясно: перемены во взглядах на недавнее прошлое весьма робкие. Вот как 17 мая 1962-го Б. Вулих писал Б.И. Николаевскому: «Читали ли Вы воспоминания Эренбурга? Плоскость потрясающая, но все-таки любопыт-

⁷ Кузнецов М. Человечность! О тенденциях современной прозы // В мире книг. 1963. № 1. С. 22–23.

но, с точки зрения что “позволено” теперь писать... Хочется надеяться, что подготовляются глубокие изменения. Но как все это медленно идет!»⁸

Что касается высказываний русской литературной эмиграции, то спектр суждений ее был куда более широким. Приведу текст, которым Н. Берберова закончила свои знаменитые мемуары «Курсив мой», писавшиеся как раз в ту же пору (1960-66 годы), что и «Люди, годы, жизнь». Их издали в России уже после распада СССР, но мне повезло ознакомиться с этим текстом, переписанным для меня от руки И.М. Наппельбаум⁹, раньше. Ей, своей давней подруге, автор «Курсива» подарила русскоязычное американское, тогда для нас крамольное, издание в первый же (после бегства в 1922-м в Берлин вместе с В.Ф. Ходасевичем) приезд в Ленинград...

Вот как в «Курсиве» Берберова пишет о книге мемуаров Эренбурга: «В ней старый писатель, которого я когда-то знала, рассказывает о себе, о людях и годах... Но какой страшной была его жизнь! И как связан он в своих умолчаниях, и как я свободна в своих! Вот именно свободна не только в том, что я могу сказать, но свободна в том, о чем хочу молчать. Но я не могу оторваться от его страниц, для меня его

⁸ Благодарю Дж. Рубинштейна, приславшего мне ксерокопию этого письма, хранящегося в фонде Николаевского в Гуверовском центре (США).

⁹ Ида Моисеевна Наппельбаум (1900–1992) – поэтесса, мемуаристка, ученица Гумилева, занимавшаяся в его студии.

книга значит больше, чем все остальные за сорок лет. Я знаю, что большинство его читателей судят его ¹⁰. Но я не сужу его. Я благодарна ему. Я благодарю его за каждое его слово. Он строит силлогизм. Помните, в юности мы учили:

Человек смертен.

Кай – человек.

Он строит силлогизм, но не дает третьей строчки. Но он дает две первых, и от нас зависит проснуться и крикнуть наконец вывод. Его осуждают, что он остановился перед выводом:

Кай – смертен.

Но разве вывод не заключен в предпосылках? К чему все наше думанье, если мы не слышим вывода в предпосылках?

Проблема страдания невинных – старая проблема. <...> Но я хочу говорить не о страдании, я хочу говорить о сознании... Страдание невинных может быть оправдано, осмыс-

¹⁰ Характерна в этом смысле запись в дневнике А.К. Гладкова, следующая за упоминанием о встречах с И.И. и М.Л. Слонимскими, В.Н. Орловым, Л.В. Никулиным: «1. 03. 67. Почти у всех недружелюбие к И.Г. Эренбургу. И трудно с этим спорить. Да – Иосиф Флавий он в чем-то. Недаром он так не любит Фейхтвангера» (Новый мир. 2015. № 5). Замечу, что Эренбург вообще мало с кем делился тем, какие именно политические препоны воздвигались и редакцией журнала, и Главлитом на пути его мемуаров к читателям; думаю, что и с А.К. Гладковым он это никогда не обсуждал.

лено только одним: если оно приведет к сознанию. Эренбург говорит о казни миллионов невинных (из которых сотни были казнены Сталиным из личной мести). Огромная часть их, умирая, славословила палача, славословила его режим и в последнюю минуту “желала здравствовать” и ему, и режиму... Пока замученный тираном кричит тирану “ура!”, и зритель, окружающий виселицу, вторит ему, и историк превозносит содеянное – нет спасения. Только в пробуждении сознания – ответ на все, что было, и только один из всех – Эренбург, – невнятно мыча и кивая в ту сторону, указывает нам (и будущим поколениям) дорогу, где это сознание лежит. Как смеем мы требовать от него большего? Упрекать его за то, что он уцелел? Вычитывать между строк его книги его особое мнение? Или отвергать его за то, что он дает нам полуправду? Наше дело осознать правду целиком, сделать вывод. Достроить его силлогизм. Иначе все жертвы – бессмысленны... Я читаю его книгу, и смущение находит на меня: жалость к этому знаменитому человеку, другу глав государств, мировых ученых, писателей, гениальных художников нашего столетия. Жалость к старому человеку, состарившемуся у меня на глазах – от первого тома к шестому, пока я читала его книгу. Жалость и благодарность. Он повернул нас всех в ту сторону, где лежит третья строка силлогизма»¹¹.

Тут к месту будет сказать о том, что в феврале 1965 года Эренбургу написал из Дрездена (тогда – ГДР) старый немец-

¹¹ Берберова Н. Курсив мой: автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 602–604.

кий коммунист, после прихода к власти Гитлера бежавший в СССР и работавший там в Коминтерне, а в конце 1930-х загремевший в ГУЛАГ, откуда ему все-таки посчастливилось выйти живым. В ГУЛАГе он познакомился с одним куда менее счастливым советским узником, который, под именем Лоти, участвовал в испанской войне – о нем Эренбург написал в 21-й главе четвертой книги мемуаров. Немецкое письмо начиналось с предупреждения: «Советский товарищ подарил мне Вашу книгу “Люди, годы, жизнь”. Купить ее у нас в ГДР ни на русском, ни на немецком нельзя. Вы знаете, что в ФРГ книга переведена, продается и читается, но почта не пропускает вышедших там книг. Я пишу Вам, чтобы поблагодарить за книгу. Много, слишком много имен, которые Вы с болью называете, я знаю, встречал, многих знал хорошо в Германии, в СССР, в эмиграции. И в лагере» (ПЗ, № 460). Фактически это было сообщение о том, что начальство ГДР, никогда не забывавшее Эренбургу его антифашистскую публицистику, использовало нападки Хрущева на его мемуары, чтобы мотивировать их запрещение в ГДР. Что и говорить, геббельсовская антиэренбурговская пропаганда прочно сидела в головах старых немцев, независимо от их политической ориентации¹². Думаю об этом и вспоминаю тогдашнюю кампанию в ФРГ, направленную против Хельмута Киндлера, издавшего немецкий перевод «Люди, годы, жизнь». Я слы-

¹² Об устойчивости влияния на немцев геббельсовской пропаганды Эренбург подробно пишет в третьей главе пятой книги своих мемуаров.

шал выступление Киндлера на выставке 1997-го в Карлсхорсте, посвященной Эренбургу (за участие в этой выставке меня пригласили на ее открытие). Киндлеру уже было 85, и последние годы он жил в Цюрихе. Выступая, он заговорил о яростной кампании, которую в 1960-е годы развернули против него лично неонацисты и союзы бывших эсэсовцев ФРГ. И не смог сдержатъ волнения... (Подробнее см.: Ф4, с. 703–711).

Но вернемся к дальнейшей издательской судьбе четвертой книги; она оказалась отнюдь не легкой.

Казалось, что в 1962 году антисталинские настроения мало-помалу продолжали набирать силу; но именно с момента публикации в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» пошла энергичная фронтальная контратака про-сталинских сил партократии, которой удалось очень быстро повернуть события вспять. Уже в декабре 1962 года состоялось спровоцированное чиновниками от искусства скандальное посещение Хрущевым выставки живописи и скульптуры в Манеже и последовавшие за этим массовые выступления прессы против неортодоксального искусства.

В этой кампании Эренбургу была уготована роль идейного вдохновителя крамольных художников. 29 января 1963 года в московском выпуске газеты «Известия» напечатали большую статью В. Ермилова «Необходимость спора. Читая мемуары И. Эренбурга “Люди, годы, жизнь”», в которой наряду с привычными обвинениями мемуариста в пропаган-

де модернистского искусства впервые высказывались и прямые политические обвинения¹³. Речь шла о сталинских репрессиях; используя слова Эренбурга о том, что он и тогда понимал абсурдность массовых арестов, но вынужден был об этом молчать, Ермилов демагогически противопоставил писателю рядовых граждан, которые искренне верили Сталину. 1 февраля 1963 года Эренбург ответил на инсинуации письмом в редакцию «Известий». Оно было напечатано пять дней спустя вместе с еще более наглым ответом критика и осуждением писателя «от редакции» под общим заголовком «Не надо замалчивать существо спора». Еще десять дней спустя «Известия», не упомянув об огромной почте в

¹³ Редактор «Известий» (органа Президиума Верховного Совета), зять Н.С. Хрущева А.И. Аджубей утверждал впоследствии, что статья Ермилова поступила в газету по личному указанию тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета Л.И. Брежнева и потому ее нельзя было не напечатать (см. его интервью газете «Молодежь Эстонии» 6 мая 1989 г. – соответствующий вопрос ему был задан в связи с тем, что в мемуарах «Те десять лет» Аджубей написал об этом куда неопределеннее: «С годами давление на Хрущева разного рода советников “по культурным вопросам” усиливалось, он часто становился раздражительным, необъективным. В пору, когда я работал в “Известиях”, мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению. Так случилось и с книгой И. Эренбурга “Люди, годы, жизнь”. Публикация критической статьи В.В. Ермилова по поводу воспоминаний Эренбурга была предопределена без нас» // Знамя. 1988. № 7. С. 100). Отметим также запись 31 января 1963 г. тогдашнего члена редколлегии «Нового мира» В.Я. Лакшина (со слов ответственного секретаря журнала М.Н. Хитрова): «На Эренбурга долго натравливали Ермилова. Посылали статью на просмотр Ильичеву. Словом, дело это сугубо запланированное и централизованное» (Лакшин В. Новый мир во времена Хрущева: дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 101).

защиту Эренбурга, напечатали несколько писем читателей, его осудивших. Эти публикации открыли всесоюзную антиэренбурговскую кампанию, достигнувшую пика в марте 1963 года, когда в нее включились Ильичев и Хрущев лично.

Столь мощные атаки не могли не сказаться на издательской судьбе четвертой книги мемуаров. Печатание набранных и одобренных Главлитом третьей и четвертой книг было задержано; издательство «Советский писатель» потребовало от автора серьезных изменений обнародованного текста. Произошло это уже после личной встречи Эренбурга с Хрущевым 3 августа 1963 года, и писателю удалось отстоять свой текст; от него потребовали покаянного предисловия, но он написал лишь следующее: «Моя книга “Люди, годы, жизнь” вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что эта книга – рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никак не претендую дать историю эпохи или хотя бы историю узкого круга советской интеллигенции. Я писал о людях, с которыми меня сталкивала судьба, о книгах и картинах, которые сыграли роль в моей жизни. Есть много больших художников и писателей, о которых я не написал, потому что не знал их лично или знал недостаточно. Эта книга – не летопись, а скорее исповедь, и я верю, что читатели правильно ее поймут»¹⁴. Не удовлетворенное этими словами, издательство

¹⁴ Эренбург И. Люди, годы, жизнь: книги третья и четвертая. М., 1963. С. 9.

поместило перед ними заметку «От издательства», в которой предупреждало читателей об «ошибках» Эренбурга; в таком виде книга вышла из печати в самом начале 1964 года.

В 1965 году Эренбург, имея в виду объявленную еще в 1962 году в программе его юбилейного девятитомного собрания сочинений публикацию мемуаров, написал три новые главы для четвертой книги «Люди, годы, жизнь» – о М.Е. Кольцове, О.Г. Савиче и Н.И. Бухарине.

Главу о еще не реабилитированном Бухарине Эренбург не стал даже предлагать издательству (ее поместили в первом посмертном и фактически бесцензурном его собрании сочинений в 8-ми томах в 2000 году). Отношения Эренбурга с М. Кольцовым (реабилитированным еще в 1954-м) не были близкими, и многое в противоречивой фигуре этого знаменитого советского журналиста было Эренбургу неясно; в журнальном варианте мемуаров Кольцову было отведено лишь два абзаца главы о советских гражданах, воевавших в Испании. А.К. Гладков вспоминал о том, как писались главы мемуаров Эренбурга: «Он жадно хватался за все новые факты, всплывавшие из небытия истории, которые могли помочь найти искомое, но ускользавшее объяснение. О Михаиле Кольцове, например, Илья Григорьевич рассказывал интереснее, чем писал, но и Кольцов не был для него достаточно ясной и понятной фигурой... И когда в печати появились воспоминания брата М. Кольцова, художника Б. Ефимова, он был взволнован ими, трижды перечитал (как он сам мне

сказал) и все время возвращался к ним в разговоре»¹⁵. Глава о Кольцове по существу написалась под впечатлением мемуаров его брата. Эренбург включил ее в испанскую часть четвертой книги мемуаров.

А глава о тогда живом и самом близком, верном друге Эренбурга Овадии Савиче означала третье (после глав о двух Пабло: Пикассо и Неруде) нарушение первоначального зароска Эренбурга не писать о живых. Оба Пабло были люди известные всему миру. О. Савича знали немногие, но это третье исключение Эренбург посчитал для себя обязательным, не только потому, что Савич – его ближайший друг, но и потому, что именно в Испании узнал его по-новому. Уговорив Савича в 1937-м в Париже, где тот был корреспондентом «Комсомольской правды», поехать в Испанию, он по существу изменил всю его дальнейшую жизнь. (В Испании Савич подружился с молодыми испанскими поэтами, стал переводить их стихи, а вернувшись в Москву, – переводить испанскую поэзию и других времен, и вскоре вокруг него вырос целый отряд учеников, ставших с годами известными переводчиками-испанистами.)

Книга пятая

Пятую книгу «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал весной

¹⁵ Воспоминания об Илье Эренбурге. М., 1975. С. 269.

и летом 1962 года; работал над ней, как и над предыдущими книгами мемуаров, в Новом Иерусалиме, на подмосковной даче, вдали от городского шума, несмолкавшего телефона, бесконечных визитеров и приглашений. «Я очень умурился, – сообщал он Е.Г. Полонской 21 июля, – был в Скандинавии, в Париже, а потом Конгресс»¹⁶. Надеюсь, что удастся теперь посидеть в Н. Иерусалиме (холод, дождь) и кончить 5 часть – война»¹⁷. Сохранилось несколько черновых планов пятой книги, отличающихся от окончательного варианта. Менялся порядок следования глав; уже в процессе работы Эренбург отказался от идеи написать портретные главы о С.М. Михоэлсе, Л.Н. Сейфуллиной, генерале И.Д. Черняховском, ограничившись более кратким повествованием о них; глава о М.М. Литвинове и Я.З. Сурице переместилась в состав шестой книги. Машинопись пятой книги была тщательно прочитана О.Г. Савичем и Б.А. Слуцким; их замечания и рекомендации Эренбург учел в своей правке.

В августе 1962 года Эренбург отдал рукопись пятой книги в «Новый мир»; сразу была достигнута договоренность: журнал напечатает ее в конце года (об этом 21 августа сообщила «Литературная газета», опубликовав главу «1943 год»).

Журнальная судьба пятой книги, однако, оказалась непредсказуемой.

¹⁶ В июле 1962 г. в Москве прошел Международный конгресс за мир и разоружение; Эренбург занимался его подготовкой и на нем выступал.

¹⁷ П2. № 493.

В ту пору Твардовский был целиком поглощен «пробиванием» разрешения напечатать в журнале повесть «Один день Ивана Денисовича» (он уже отправил Хрущеву письмо и рукопись Солженицына – никто другой не мог разрешить ее публикацию). Твардовский надеялся, что пятая книга мемуаров Эренбурга, посвященная Отечественной войне, т. е. периоду общепризнанной, официальной славы Эренбурга, не содержит никакой «крамолы» и не создаст для журнала дополнительных сложностей. Прочитав рукопись, он понял, что это не так.

Твардовский собрал редколлегию «Нового мира» специально по поводу пятой книги «Люди, годы, жизнь». Как записал в дневнике один из его заместителей по «Новому мир» В.Я. Лакшин, Твардовский говорил очень нервно: «Эта часть мемуаров могла бы стать главной – тут, в эти годы, расцвет деятельности Эренбурга. А она мелка, многое неприятно... Поза непогрешимого судьи, всегда все знавшего наперед и никогда не ошибавшегося. Александр Трифонович предложил повременить с печатанием. Кондратович поддакивал, Закс (который непосредственно и “ведет” рукопись Эренбурга) молчал. Пришлось говорить мне. Я сказал, что, по моему, хотя Александр Трифонович во многом и прав, нельзя прерывать печатание книги. Мы взяли обязательство и перед автором, и перед читателями, а их у Эренбурга немало. Все, что есть в этой части, разве что в большей густоте, было и в предыдущих – нет основания вдруг отвергать рукопись.

Александр Трифонович отвечал, что не думает отвергать, но думает отложить печатание: “Если я, скажем, могу печатать Солженицына, то и Эренбург может найти себе место в журнале. А если я не могу печатать Солженицына, а должен печатать Эренбурга (благодаря его особому, “сеттльментному” положению в литературе), тогда журнал получает однобокое направление, народной точки зрения в нем нет, а есть интеллигентское самолюбование”. Это аргумент веский. Сочиняли письмо Эренбургу, чтобы все высказать, но не обидно»¹⁸.

В письме Твардовского Эренбургу (11 сентября 1962) говорилось о пятой части его мемуаров: «...многое здесь на уровне лучших страниц предыдущих частей, многое мне не просто не нравится, но вызывает серьезные возражения по существу (как, впрочем, и у многих соредакторов). Однако я не спешу беспокоить Вас подробным высказыванием моих замечаний, главным образом по той причине, что, как выяс-

¹⁸ *Лакшин В.* Новый мир во времена Хрущева: дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 72, 73. Несправедливая резкость тона этого и следующего суждений Твардовского так не похожа на его публичные высказывания о мемуарах Эренбурга, что может быть объяснена лишь особо взвинченным его состоянием (опасением, что повесть Солженицына, которую Твардовский ценил очень высоко и ждал тогда от ее автора значительных книг, не будет разрешена к печати); отметим также, что дневниковые «цитаты» в этой книге Лакшина далеки от стенографической точности и, кроме того, в книге немало опечаток, возможно, и в датах записей. В. Лакшин датирует собрание редколлегии 12 сентября. Однако это письмо Эренбургу за подписью Твардовского датировано 11 сентября, а ответное письмо Эренбурга заместителю Твардовского Кондратовичу имеет дату 12 сентября. Возможно все же, заседание редколлегии происходило 11 сентября, а не 12-го.

нилось, в этом году мы уже не сможем, к сожалению, начать печатание этой части»¹⁹.

На следующий день, 12 сентября, Эренбург написал заместителю Твардовского А.И. Кондратовичу: «Как содержание, так и тон письма Александра Трифоновича ставят передо мной вопрос, который я сам решить не могу, а именно, входит ли в намерение редакции отодвинуть печатание моей книги в Вашем журнале <...> Разумеется, А.Т. Твардовский хозяин в своем журнале и навязывать ему публикацию того, что ему неприемлемо, я никак не собираюсь. Моя просьба к Вам состоит в том, чтобы прямо и откровенно сообщить мне намерение редакции»²⁰. Ответ Кондратовича (возможно и устный) неизвестен. Сомнения Эренбурга развеял десятый номер журнала, объявивший пятую книгу мемуаров в плане «Нового мира» на 1963 год. Между тем, с октября 1962 года Эренбург приступил к работе над последней, как он тогда считал, шестой книгой мемуаров. Но неожиданно и драматично затянувшаяся история с публикацией пятой книги надолго отвлекла его от написания шестой.

3 ноября 1962 года был подписан в печать 11-й номер «Нового мира» с повестью Солженицына «Один день Ива-

¹⁹ ПЗ. № 406.

²⁰ П2. № 495. Факсимиле письма приводится только в неполном издании: Кондратович А. Новомировский дневник 1967–1970. М., 1991. С. 104–105. В. Лакшин, написав о письме Эренбургу, утверждает: «На другой день Эренбург атаковал Закса и всю редакцию, гневался, требовал сатисфакции» (с. 73), что не стыкуется с содержанием и тоном его же письма Кондратовичу.

на Денисовича», а 20 ноября гранки пятой книги мемуаров Эренбурга доставили в Главлит, откуда его передали в Отдел печати ЦК, которым заведовал Д.А. Поликарпов. А.И. Кондратович вспоминал: «Поликарпов не любил Эренбурга и боялся его. А оттого, что боялся, еще больше не любил его. А так как был антисемитом, то уже и ненавидел, но боялся. Очень боялся. Все помнили случай, когда один из предшественников Поликарпова на посту в ЦК Головенченко кувырком полетел со своей должности из-за Эренбурга²¹ <...> Поликарпов знал это... Все части мемуаров Главлит исправно передавал в ЦК, густо расчерченные. Поликарпов ломал над ними голову, а потом вызывал меня и говорил, что это нельзя и это нельзя напечатать, а вот это надо просто каленым железом выжечь. И каждый раз я говорил: “Но он же не согласится”, или иногда с сомнением: “Попробуем, может, уговорим”. Но Эренбург ни за что не соглашался менять текст, а иногда издевательски менял одно-два слова на другие, но такие же по смыслу. И то было хорошо. Я показывал: “Видите, поправил”, и, к моему удивлению, с этими лжепоправками тут же соглашались. Вскоре я разгадал эту игру отдела. Им нужно было на всякий случай иметь документ, свидетельствующий о том, что читали, заметили происки Эренбурга, разговаривали с редакцией, и Эренбург все же что-то

²¹ Дальше купирую цитату, т. к. рассказ Кондратовича о причине снятия Головенченко неверен: ср. рассказ о событиях марта 1949 г. в 15-й главе шестой книги ЛГЖ и комментариев к ней о Головенченко.

сделал. Мало, но ведь все знают его упрямство...»²²

17 декабря 1962 года в Доме приемов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей КПСС и правительства с деятелями литературы и искусства. В докладе секретаря ЦК КПСС Л.Ф. Ильичева грозно прозвучало предупреждение, что партия будет выступать против буржуазной идеологии в литературе и искусстве, отстаивая принцип партийности. Среди литературных произведений, на которые Ильичев обрушил разнос, мемуары Эренбурга были из основных.

27 декабря Главлит СССР сообщил редакции «Нового мира» свои замечания по пятой книге мемуаров Эренбурга.

2 января 1963 года мемуары Эренбурга обсуждались на заседании Президиума ЦК КПСС (Хрущева на этом заседании не было). В шестом пункте протокола записали, что совещание интеллигенции 17 декабря «прошло хорошо». Седьмым слушали вопрос: «О воспоминаниях Эренбурга». В протоколе заседания написано: «О третьей части <мемуаров Эренбурга. – Б.Ф.> – хорошо бы, если литературная критика разобрала обстоятельно. На будущее ограничить поездки Эренбурга»²³. Но, как дальше сказано в комментариях, «строгих санкций, резко ограничивающих поездки Эренбур-

²² Кондратович А. Новомировский дневник. М.: Собрание, 2011. С. 179–180.

²³ Президиум ЦК КПСС 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний: в 3 т. Т. 1. Стенограммы. / Главный редактор А.А. Фурсенко. М.: РОС-СПЭН, 2004. С. 669, 1119.

га за рубеж, однако, не было принято»²⁴.

3 января 1963 года первый номер «Нового мира» с десятью главами пятой книги мемуаров Эренбурга подписали к печати.

Со вторым номером дело оказалось куда сложнее. Анти-эренбурговская кампания, начатая (во исполнение указания Президиума ЦК) в «Известиях» 29 января публикацией статьи Ермилова²⁵, была в разгаре, и цензура подписать продолжение публикации пятой книги не решалась. В. Лакшин приводит дневниковые записи цензора Голованова о прохождении № 2 «Нового мира» за 1963 год:

«31 января. Утром по телефону получил <...> исправление по материалу И. Эренбурга. В 12.30 звонил т. Кондра-тович с просьбой ускорить решение. Причем сказал: “Эренбург больше ни на какие исправления не пойдет, вплоть до скандала в международном масштабе”».

2 февраля – «направлено письмо в ЦК КПСС по поводу И. Эренбурга».

5 февраля он записывает: «Цензура держит полосы Эренбурга²⁶. Номер стоит».

20 февраля: «Совершенно неожиданно, выполнив указа-

²⁴ Там же. С. 1122.

²⁵ См. примеч. на с. 14.

²⁶ Записку Отдела культуры ЦК «О новой части книги И.Г. Эренбурга “Люди, годы, жизнь”», требующую новых исправлений текста, см.: История советской политической цензуры. М.: РОССПЭН, 1997. С. 138–140.

ния Идеологического отдела ЦК КПСС, редакция журнала “Новый мир” представила вариант, после вторичного исправления автором, материала “Люди, годы, жизнь” на № 2 журнала. По указанию Главлита СССР т. <П.К.> Романова, после тщательного рассмотрения исправлений, которые не меняют существа, – материал мною разрешен к печати»²⁷.

Что же произошло между 2-м и 20-м февраля 1963 года? 13 февраля в ЦК КПСС на совещании у Ильичева, дирижера антиэренбургской кампании, где присутствовал Твардовский, было принято решение – публикацию мемуаров из второго номера журнала снять. Твардовский сообщил об этом Эренбургу, который тут же попытался связаться с Ильичевым по телефону, но тот «не смог принять» писателя. Тогда Эренбургу не оставалось ничего иного, как в тот же день, 13 февраля, обратиться с письмом лично к Хрущеву: «Редактор “Нового мира” А.Т. Твардовский сообщил мне, что ему предложено снять из февральского номера продолжение пятой части моих воспоминаний. Когда печатались предыдущие части, Главлит и другие организации указывали журналу на необходимость изменений или сокращений. Я во многом шел навстречу, и книга продолжала печататься. На этот раз указание снять из февральского номера очередные главы воспоминаний не сопровождалось никакими предложениями об исправлении или изменении текста. Я обращаюсь к Вам, Никита Сергеевич, не как автор, стремящийся опубли-

²⁷ В. Лакишин. Указ. соч. С. 101–105.

ковать свое произведение, а как советский гражданин, обеспокоенный возможными политическими последствиями решения, сообщенного А.Т. Твардовскому. Если бы в январском номере “Нового мира” не было напечатано начало пятой части с пометкой “продолжение следует”, я бы не решился Вас беспокоить. Но в наших литературных журналах до сих пор не было ни одного случая, чтобы вещь, начатая печатанием, оборвалась на словах “продолжение следует”. Я боюсь, что это не только удивит читателей, но будет использовано антисоветскими кругами за границей, тем более что переводы моей книги печатаются во многих зарубежных странах. Это поставит меня как общественного деятеля в ложное положение. Я думаю, что если редакция “Нового мира” укажет в февральском номере, что печатание “Люди, годы, жизнь” будет продолжено в таком-то номере, это может помешать разворачиванию очередной антисоветской кампании. Я убежден, что Вы поймете, какими мотивами я руководствуюсь»²⁸.

Хрущев еще не забыл мирового скандала с Нобелевской премией Пастернаку и никаких новых литературных скандалов не хотел, но и взять на себя единоличную ответственность в этом деле тоже не пожелал. Потому уже на следующий день он ознакомил с письмом Эренбурга трех секретарей ЦК, включая Ильичева²⁹.

²⁸ П2. № 506.

²⁹ В РГАСПИ, где хранится это письмо, к нему приколоты записка Хрущева:

18 февраля Л.Ф. Ильичев представил записку о том, что «никаких запрещений редакции “Нового мира” относительно публикации мемуаров не давалось. Главлит обратил внимание редактора этого журнала на то, что в представленной к печати рукописи И. Эренбурга содержатся неправильные, предвзятые утверждения, создающие ложное представление об обстановке в нашей стране в военные годы <...> В связи с замечаниями Главлита главный редактор “Нового мира” т. Твардовский обратился в Идеологический отдел ЦК КПСС. Тов. Твардовскому было разъяснено, что опубликование мемуаров без исправления невозможно <...> 15 февраля редколлегия журнала “Новый мир” повторно изложила И. Эренбургу замечания. На этот раз И. Эренбург ответил, что он в течение ближайших дней обдумает предложения редакции и, видимо, большую часть замечаний учтет <...> Идеологический отдел ЦК КПСС считает, что при этом условии подготовленные для второй книжки “Нового мира” главы мемуаров могут быть опубликованы»³⁰. При этом принципиальные уступки Эренбурга оказались минимальными...

20 февраля второй номер журнала с восемью главами пя-

«От писателя Эренбурга И.Г. тт. Козлову, Суслову, Ильичеву. *Н. Хрущев* 14 февраля 1963».

³⁰ П2. № 506 (комм.) На письме Главлита в ЦК КПСС, где говорилось, что часть 5-й книги для февральского номера «не может быть опубликована в представленном виде», появилась резолюция: «Эренбург внес приемлемые поправки в материал для второго номера. Дано указание номер выпустить. Материал для третьего номера будет рассмотрен особо. *Д. Поликарпов*. 18.II.63» (П2. № 507, комм.)

той части был подписан к печати и Ильичев успокоил Хрущева: никакого международного скандала со вторым номером «Нового мира» не случится.

Наибольший цензурный урон понесло окончание пятой части мемуаров, печатавшееся в третьем номере «Нового мира». Вдохновленный поддержкой Хрущева, заставившей Ильичева пойти на попятный, Эренбург (видимо, он представлял себе ситуацию именно так), когда ему 19 февраля представили верстку мемуаров для третьего номера с замечаниями цензуры, отослал эту верстку помощнику Хрущева В.С. Лебедеву, приложив к ней письмо Хрущеву с благодарностью и новой просьбой: «Дорогой Никита Сергеевич, большое Вам спасибо. Не ругайте меня – по тем же причинам, по которым я обратился к Вам с предыдущим письмом, я обращаюсь с просьбой напечатать в мартовском номере окончание. Я посылаю товарищу Лебедеву верстку. Я не могу надеяться, что у Вас найдется время, чтобы ее прочитать, но прошу Вас попросить это сделать товарища, который прочтет ее без предвзятого мнения, не так, как читали часть, идущую в февральском номере, где в любой фразе видели нечто невозможное. Простите, что беспокою Вас»³¹. На этом письме имеются пометы: «Тов. Хрущев Н.С. читал», «Разослать членам Президиума ЦК, кандидатам в члены Президиума ЦК, секретарям ЦК – указание Н.С.Хрущева. 26.2.63.

³¹ П2. № 507. Это письмо хранится в Президентском архиве – Ф. 3. Оп. 34. Д. 288. Л. 50.

В. Лебедев». Вроде бы все складывалось обнадеживающе.

Однако события развернулись абсолютно непредсказуемо. Судя по всему, Ильичев, сообщив Хрущеву, что второй номер журнала разрешен и скандала не будет, одновременно, похоже, представил Хрущеву вместе с Запиской Идеологического отдела ЦК еще и надерганные из мемуаров Эренбурга доказательства его враждебных взглядов, которые настроили Хрущева резко против мемуаров «Люди, годы, жизнь». И когда 7 марта 1963 года Л.Ф. Ильичев открыл встречу руководителей партии и правительства с деятелями советской культуры³² (она продолжалась два дня), произнеся установочную речь, в ней он повторил свои прежние нападки на выступления ряда писателей и художников, одной из главных мишеней для него был Эренбург. Б. Слуцкий вспоминал: «Основательно обруганный уже в первый день встречи, И.Г. не пошел на второй, сидел дома, нервничал, тосковал и ждал вестей <...> К вечеру пришли Каверин и Паустовский с новостями скверного свойства. Поучительно было наблюдать мрачного, подавленного Эренбурга, мрачного, возбужденного Паустовского и улыбающегося Каверина, который сказал: “А я, знаете, так устроен, что уверен, что все обойдется. Просто не могу поверить, что будет плохо”. На него обрушились, недвусмысленно объясняя его оптимизм крайней молодостью и неопытностью. А Каверину тогда уже бы-

³² Эренбург впоследствии называл эти встречи «мартовскими идами».

ло за шестьдесят»³³.

Действительно, 8 марта 1963 года, на второй день встречи Н.С. Хрущева с деятелями культуры, он выступил с совершенно разгромной речью, часть которой была посвящена именно мемуарам Эренбурга («Товарищ Эренбург совершает грубую идеологическую ошибку, и наша обязанность помочь ему это понять»³⁴ – это наиболее деликатная формулировка в заготовленной для Хрущева речи).

Текст речи Хрущева, как это стало понятно через полтора года, был несомненной провокацией просталинских сил, подготовлявших в стране антихрущевский переворот. В планы заговорщиков входило поссорить Хрущева с передовой (антисталинской) частью интеллигенции, которая поддерживала Хрущева как автора политики XX съезда КПСС.

После выступления Хрущева 8 марта Эренбурга уже не опасались ни в Главлите, ни в аппарате ЦК. Из текста мемуаров, сверстанных для третьего номера журнала, «крамолу» вырезали кусками. Целиком были сняты главы о художнике Кончаловском и о «Черной книге», посвященной массовому уничтожению гитлеровцами мирного еврейского населения на оккупированных территориях СССР. 29 марта 1963 года кастрированный третий номер журнала подписали в печать. В нем были напечатаны пять последних глав многострадальной пятой книги мемуаров Эренбурга, а открывался он тек-

³³ Слуцкий Б. О других и о себе. М., 2005. С. 206.

³⁴ Правда, 10 марта 1963.

стом разгромного выступления Хрущева 8 марта. С тех пор мемуары Эренбурга захлеб «критиковали» на всевозможных пленумах и заседаниях – тормозов не было, лишь редкие выступавшие позволяли себе мягко напоминать об антифашистской публицистике писателя военных лет...

Уже в иную политическую эпоху – в 1965 году – Эренбург дополнил пятую книгу мемуаров главами о Ю.Н. Тынянове и В.С. Гроссмане (эти главы впервые напечатаны в отдельном издании пятой и шестой книг, вышедшем в 1966 году).

Со знаменитым литературоведом Тыняновым Эренбург познакомился в Ленинграде в 1924-м, когда тот еще не писал прозу – ее Эренбург высоко оценил и полюбил сразу³⁵. Юрий Николаевич умер в Москве в 1943-м, Эренбург был на его похоронах, потому-то главу о нем и поместил в пятую книгу.

Написать эту главу Эренбурга давно уговаривал Вениамин Каверин, женатый на сестре Тынянова и многим ему обязанный; он готовил к изданию сборник воспоминаний о нем и, прислав Эренбургу стенограммы двух его выступлений на вечерах писателя, попросил написать воспоминания для этого сборника. Так появилась глава о Ю. Тынянове.

Глава о Василии Гроссмане написана после его смерти в 1964-м. Писатели познакомились и подружились в первые месяцы Отечественной войны, но в послесталинские,

³⁵ См. об этом главу «Тынянов, Эренбург, Шкловский и другие в хронологических контекстах» в моей книге «Наш жестокий XX век» (М.: Аграф, 2016. С. 301–357).

оттепельные годы практически не общались. Друг Гроссмана С.И. Липкин это знал, а когда Гроссман умер и ему пришлось через враждебно относившийся к покойному Союз писателей организовывать похороны опального писателя, первый, кого он попросил выступить на гражданской панихиде, был именно Эренбург. Свидетельство Липкина: «Умную, серьезную речь произнес Эренбург. Он поставил Гроссмана в один ряд с крупнейшими писателями России. Он честно признал, что Гроссман в последние годы относился к нему крайне критически, перестал с ним встречаться. “В некрологе, – сказал Эренбург, – напечатано, что лучшие произведения Гроссмана останутся достоянием советского читателя. Но кто возьмет на себя право определять, какие произведения – лучшие?” Все поняли, что имел в виду Эренбург»³⁶. Главу о Гроссмане Эренбург закончил печально: «Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману ... Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не поддержали, не согрели? Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Это старая история: судьба, видимо, не любит максималистов»³⁷.

³⁶ Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М.: Книга, 1990. С. 101, 111.

³⁷ См. наст. том. Книга 5. Глава 20.

Полный текст пятой книги без цензурных вымарок впервые был напечатан в ЛГЖ-90; в цитируемое здесь издание 2005 года внесен ряд исправлений и уточнений по рукописи из архива «Нового мира», хранящейся в РГАЛИ.

Завершая столь долгую историю пятой книги мемуаров «Люди, годы, жизнь», а с нею и второго тома мемуаров в целом, вспомним о начатой Эренбургом в октябре 1962 года шестой книге, к работе над которой он смог вернуться только в августе 1963-го... Но это уже тема, связанная со следующим, третьим, томом мемуаров И.Г. Эренбурга, чья судьба оказалась по-новому драматичной...

Борис Фрезинский

Книга четвертая

1

В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до Первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку – искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я – Леня Мильштейн из Кишинева...»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни...»

Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде...»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нэпа. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские...»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и крошка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом – худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить... Может быть, пошел дождь?»

Или из дому выходит старушка с кошелкой?..»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутин, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер...»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне.

(Незадолго до Второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливи-

ках, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-Медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнился; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпики и Поля Валери, обрушивался на сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей. Писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в «Известия» – словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокатрехлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и те-

перь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня завтра фашистский режим рухнет – так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в «Клозери де лиля» глава первого революционного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист...» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Ланжевен, Андре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро. Андре Жид произнес проповедь – доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков. Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву», – радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо перекашивал нервный тик; вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно

загремел.

Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов, а пока он жив, сегодняшний день заслоняет вчерашний.

В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма; вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маки. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жолио-Кюри не понимает всей опасности фашизма.

Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом; он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих бывших друзей; это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о тридцатых годах, не называя Мальро.

В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования»; я писал о нем: «Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры; он загромоздил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть». Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни, и обрадовался, когда писатели весьма консерватив-

ные присудили ему Гонкуровскую премию: на жюри подействовала обстановка – Франция шла налево.

Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями – с Кассу, Авелином, Низаном, Даби. С одним из его последователей я подружился – с Гийу. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь» – один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов – простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или усложнить. (Недавно я неожиданно встретил Гийу в Риме; мы с нежностью вспомнили давние годы.)

Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы и театральные пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово.

Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию.

Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации «Французской солидарности»; молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания «Боевых крестов», «Патриотической молодежи». В отличие от Германии, среди фашистов было мало рабочих, и я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов.

Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием...

В 1933 году я прочитал «Поднятую целину», последние поэмы Багрицкого, «Охрannую грамоту» Пастернака, новые рассказы Бабеля, стихи Сельвинского и Заболоцкого. Мне казалось, что наша литература набирает высоту.

В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой к коммунистам; вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жионо и Дрие ля Рошелля.

С Жионо я познакомился в конце двадцатых годов; он был мечтательным, тихо улыбался, писал поэтичные романы

о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитав его статью, где он писал, что нужно примириться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации; это меня уже не удивило.

Дрие ля Рошелль был куда значительнее – талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточиной. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидел Дрие. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу; в ней были странные признания: «Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм... Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я – интеллигент и вечный свободолобец...» Он обольстился фашизмом, когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита.

На наши собрания приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего, Геенно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»; я ее сейчас раскрыл: «К концу войны на Востоке показалось большое зарево. Его ответ помогает нам жить... Мы не последовали его примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того пожара. Но все равно эта битва, этот пример – вот почти вся наша надежда, вся наша радость...»

Теперь Геенно – академик. Недавно он приезжал в Москву, пришел ко мне. Во многом наши пути разошлись, но мы с нежностью вспоминали середину тридцатых годов.

В конце 1933 года французские фашисты приподняли голову. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрипоты в кафе, в вагонах метро, на углах улиц. Раскалывались семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года.

Даже монпарнасские художники начали интересоваться политикой.

Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника.

К.А. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котантен, когда Мальро его расспрашивал о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в «Куполе», и у меня дома.

Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «якобинцем». Теперь и он академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое.

В бар «Куполь» приходили С.Б. Членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Деснос, Роже Вайян, Рене Кревель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кревеля были глаза добрые и затравленные: он мучительно переживал разрыв меж-

ду коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно.

Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери издатель еженедельников «Вю» и «Лю» неистовый Вожелъ. Он был снобом не по программе, а по природе – сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с А.А. Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мари-Клод вышла замуж за Вайяна-Кутюрье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожелъ, мягкий в жизни и свирепый в отзывах.

Незачем скрывать, что я радовался своему успеху: вопреки мрачным предсказаниям, «День второй» печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий? В жизни я часто видел, как в суждения людей вмешиваются сугубо личные дела, успехи или неудачи в работе, даже состояние здоровья.

Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием.

В конце декабря я получил телеграмму из Москвы: «Вышла замуж Бориса Лапина фамилия адрес прежние поздравляю Новым годом Ирина». С Б.М. Лапиным я познакомился за год до этого; он мне понравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям; понравилась мне и его книга. Телеграмма, однако, меня удивила: никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресе мне показались забавными – были в этом и ха-

рактер Ирины, и характер эпохи.

Мы выпили за счастье Ирины. Встреча Нового года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином: почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении, и веселились мы до утра.

Мне было почти сорок три года; не так уж это молодо, но, видимо, еще зелено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами, и книгу статей, написанных в 1932–1933 годах, я озаглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу – я разделял иллюзии многих и уж никак не мог себе представить, что состарюсь, а развязки не увижу.

С И.А. Ильфом и Е.П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двенадцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: «Ну что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть – бедный человек выигрывает пять миллионов...»

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария, в поисках

«гагов»³⁸ участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинокомедия погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый, шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства, Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходил с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек; он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают...» За полгода до того как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал: «Немцам осто-

³⁸ От *англ.* gag – шутка, острота, трюк. – *Здесь и далее примеч. ред.*

чертела война...»

Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого – едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее – во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков – Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку; написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу – умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: все, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде “Крыжовни-

ка” или “Душечки”...» Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело – его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

«Как теперь нам писать? – сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. – “Великие комбинаторы” изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес – это “уродливое явление”. А напишешь рассказ, сразу загалдят: “Обобщаете, нетипическое явление, клевета...”»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы...»

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород в «древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции – одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ло-

вили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона». В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в страхе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород...

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) – выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников: “А на третье был компот из вишен”». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом карандаш назывался “Копир-учет”. Ух, как скучно!»

«Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов». «Это были гордые дети маленьких ответственных работников». «— Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Чехова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел, может быть, по скромности не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге — он понимал, что автор, которого звали Ильфпетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала...»

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С.А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно бы-

ло рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев, сможет для них писать без цитат и штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое послало Хемингуэя в Испанию). Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу; он писал также для «Известий» и «Красной звезды».

Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. 5 февраля погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухиничей Евгений Петрович, контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние; едва дополз по лестнице до десятого этажа. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бои.

В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице, в номере К.А. Уманского. Пришел адмирал И.С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», немецкая бомба попала в корабль; было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет ле-

тел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И.С. Исаков, а потом при авиационной катастрофе в Мексике погиб К.А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушие, грубость, чванство. Хорошие люди, лучше не скажешь. Хорошие писатели – в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей.

А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петрови-
че: хорошие были друзья.

Как-то в 1931 или в 1932 году я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый брюнет, похожий на аргентинского танцора; он ухаживал за дамой; когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал: «Сдачи не нужно». Мерль наклонился ко мне: «Это Александр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник...» Я не стал расспрашивать: мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения.

А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Стависский действительно родился в Киеве, на Слободке. Журналисты называли его «красавцем Сашей». Выяснилось, что красавец нахапал за короткий срок шестьсот пятьдесят миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверием дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но даже некоторым министрам.

Началась газетная перебранка: правые заверяли, что Стависский подкупал радикалов, радикалы отвечали, что чеки перепадали и друзьям Тардье.

Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности; жулик походил на Вертера.

Мелодрама длилась недолго; оказалось, что Стависского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди.

Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал: «Моя программа – довольно политических принципов! Прежде всего честность!»

Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции; каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера: Устрик, Пере, Багдад, «Нгоко-Санга». Ну еще один... Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории.

Правые газеты усиленно занялись моралью: объяснялось это политическими расчетами – у власти стояло правительство «левого картеля». Министр иностранных дел Поль-Бонкур был сторонником сближения с Советским Союзом. Что касается различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии; скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма – за «здоровое государство с твердой властью».

Разразился очередной министерский кризис; он мало что изменил: большинство в парламенте принадлежало радика-

лам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабдившись, решил сместить префекта полиции всесильного Кьяппа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяпп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия, он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнав, что он смещен, он сказал, что в случае необходимости «выйдет на улицу».

Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на нарядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники «Боевых крестов», «Французской солидарности», «Патриотической молодежи» пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты.

«Марсельеза» фашистов прерывалась улюлюканьем. Полицейские, среди которых было много корсиканцев, вели себя непривычно мягко: многие из них были преданны своему начальнику и земляку Кьяппу, к тому же перед ними были не рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобусы, опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы. Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устало и разошлось по домам.

Радикалы любили называть себя «якобинцами»: однако эти «якобинцы» трусили; Даладье подал в отставку. Началась обычная парламентская суетня, и новый кабинет состряпал правый Думерг, включив в него различных добро-

порядочных французов, в том числе Петена и Лавалья.

Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к Восточному вокзалу: говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий; он попросил у меня прикурить, сказал: «Вот безобразие!..» В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими; один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове.

На узкой улице строили баррикаду; тащили бочки, столы, ручные тележки; пели «Интернационал». Я попробовал пройти дальше. Начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было; я увидел только кровь на тротуаре.

Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь: хотел передать поскорее корреспонденцию о происшедшем. Несколько раз меня останавливали, обыскивали.

Это было в пятницу; два последующих дня многое решили: различным профсоюзам – тем, что шли за коммунистами, и тем, во главе которых стояли социалисты, – удалось прийти к соглашению: на 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призвали всех собраться на площади Насьон.

Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится; однако на следующий день ни одна из них не вы-

шла: печатники забастовали. Жизнь замерла: не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта; даже учителя примкнули к забастовке.

Я пошел на площадь Насьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статую Республики красным флагом; статуя большая и на высоком цоколе: сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев – беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира...

Двенадцатое февраля стало для Франции большой датой. Казалось, ничего не произошло, и на следующее утро Париж выглядел как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило: не состав кабинета – Францию. Как-то сразу заглохли догадки, когда фашисты снова выступают и кого они прочтут в фюреры. Все поняли, что сила у народа, 12 февраля было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию.

Весь день я бродил по улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следую-

ций день пришла телеграмма от редакции: в Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией; я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать.

Двенадцатое февраля меня окрылило; я видел повсюду победы. Вслед за Парижем – Вена... Видимо, приближается тот «последний и решительный», о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом нельзя стрелять: остается выполнять работу военного корреспондента...

Я понимал, что австрийцы въездной визы мне не дадут, и решил прибегнуть к хитрости: сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал: «Останусь в Вене столько, сколько будет нужно; да еще неизвестно, кто победит...» Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы.

Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны; чернели дыры домов, разбитых артиллерией хеймвера. Во Флоридсдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки – белые флажки капитуляции. Среди щебня я увидел неубранный труп женщины. Хеймверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на Пресню в декабре 1905 года.

Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мюнихрайтера; он был тяжело ранен, и в здание суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором следовали другие.

Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал; все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шувбундовцам удалось добраться до чехословацкой границы.

После победы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не

знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шуцбундовцев меня поразил.

Я вспомнил, что, когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома; приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десяток газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями: «Дома изумительные! Но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле?..» Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным путем – ведь на последних выборах в Вене семьдесят процентов избирателей голосовали за социал-демократов...

Теперь эти чудесные дома, названные именами Маркса, Энгельса, Гёте, Либкнехта, чернели, продырявленные снарядами...

Я услышал выстрел: хеймверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На Ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши: «Бал в Савойе», «Девушка с темпераментом», «Мы хотим мечтать».

Я уехал в Братиславу и там нашел шуцбундовцев. Один из

них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал: «Мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не струсили. Конечно, оказались предатели, как Корбель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались!.. Это хорошие люди, я с ними проработал двенадцать лет. Но когда начался бой, они растерялись...»

Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Брно находится один из руководителей шуцбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Брно. Дейч хмурился; потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразила разлад между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека – жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. (Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречиями: он был в Испании во время Гражданской войны; его произвели в генералы, и социал-демократы на него дулись – он слыл «левым». Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали.)

Я увидел человека, подавленного событиями; его обиды мне многое объяснили.

Брно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других «марксистских организаций» распущен «Союз владельцев маленьких садилов и кролиководов». Это было смешно, но я не улыбнулся.

В Брно я написал очерки для «Известий», получилась небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением.

Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому, что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи; они, например, создали боевые дружины – шуцбунд, скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в два-три дня?..

В нашей печати социал-демократов тогда именовали «социал-фашистами»; это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Но социал-демократы не были фашистами; это было ясно любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов, и если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать «третьей силой», а на са-

мом деле теряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции.

Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне честных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хеймверовцев князя Штаремберга.

В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианско-социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей шуцбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие Линца отказались сдать винтовки и вступили в бой, в Линц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы: это был условный язык – Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флоридсдорфа забастовали и вытащили припрятанное оружие, руководители шуцбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена.

Я писал в «Известиях»: «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны – право в фа-

шистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как сделали их германские собратья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись...» Редакцию газеты несколько смутили эти строки, но они были напечатаны.

Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-демократов, я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие-печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в несознательности. Они понимали, что канцлер Дольфус не сулит им счастья, но, сочувствуя шуцбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались «насильниками», «убийцами», «наемными агентами»; печатники знали, что это неправда, но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке и железнодорожники; это дало возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около двадцати тысяч рабочих, во второй и третий день сопротивлялись семь-восемь тысяч. Это меня не удивило; так бывало в истории не раз. Поразительно другое: всеоб-

щая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шуцбундовцы оказались без тыла.

Я понял, что победа Гитлера не была одиноким, изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посулы, и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше – Париж или Вена, отпор или капитуляция?

Тысяча девятьсот тридцать четвертый год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты – от Латвии до Испании. Осенью горняки Астурии попытались повернуть ход событий, но были разбиты.

Я не могу сказать, что австрийская буржуазия радовалась в феврале 1934 года победе хеймверовцев. Конечно, она была довольна, что шуцбундовцы разбиты, в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое – беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, остроумные фельетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на Ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене; он походил на карлика, его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини – хотел спа-

сти Австрию от Гитлера. А в июле его убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаремберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в пароходной компании. Канцлером был осторожнейший Шушниг; он знал, что нельзя гневать ни господ бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушниг предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты все же посадили его в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года.

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег. Скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных «каварнях» доказывал мне, что сюрреализм Бретона мало чем отличается от социалистического реализма.

Я познакомился с Чапек. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать – под тяжестью веков... Надвигается эпоха воинствующей глупости...»

Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашека. Прошло всего шестнадцать лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идиллическими.

Гоффмейстер начал рисовать меня на память – с трубкой и без трубки, с чемоданом и без чемодана; последнее, признаться, меня пугало: я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли. А я не мог привыкнуть к своему положению; как я ни люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться.

Мои статьи появились в «Известиях» до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе; мне отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага – Париж приземлялся в Нюрнберге, требовалась транзитная виза.

Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик». Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и неприимости, а чешскими кронами они не гнушались.

В издательстве бывало много народу: часть немецких литераторов перекочевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает запретные книги, переплел в роскошный переплет «Хулио Хуренито»; может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу.

Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким, белобрысым, с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добродушными глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказался: «Я не хочу инцидентов». Я не понял, о каких инцидентах он говорит, и стал заверять, что, находясь на аэродроме Нюрнберга, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся: «Инцидент может произойти не по вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены... Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии».

Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт; я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу: «Вам придется выбрать другой маршрут».

Меня пригласил к себе министр иностранных дел Чехословакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького, чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал: «Я знаю, что вы любите Словакию и критикуете наше отношение к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить.

Наконец Бенеш сказал: «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил: «Да! Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж, я пропустил все сроки...» Я рассказал о злоключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня к карте Европы, висевшей на стене: «Теперь вы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности».

Подумав, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу, в случае успеха я смогу поехать через Румынию – Югославию – Италию. Я еще раз взглядел на карту и улыбнулся: нужно на запад, а поеду на восток... Привередничать, однако, не приходилось, и я побла-

годарил Бенеша.

Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт – никогда прежде они не видели советского паспорта. (Это было до установления дипломатических отношений).

Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Орадя. Я с любопытством глядел на ободранных, но лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на босых крестьян, на изысканных полицейских, а журналисты с не меньшим любопытством разглядывали меня – советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Орадя на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишоара и там увидел две примечательные личности – министра народного просвещения Алгелеску и фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о «великой Румынии», фюрер – о «великой Германии».

При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное перо как контрабанду, но, узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник, к моему удивлению, попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «Тринадцать трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками врангелевской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, усташаи, другие говорили, что динамитчики действу-

ют по указанию белградской полиции.

В Триесте я разыскал одну знакомую, жену врача; она долго рассказывала о глупости и унижительности жизни под властью дуче. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд, и подняла по-фашистски руку, потом сказала: «Простите мне этот жест. Приходится...»

Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был устлан малиновыми ковриками; по ним торжественно прошел австрийский канцлер Дольфус. На площади Святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини: «Фашистская и пролетарская Италия, вперед!...» Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед – по площади, блестящей после весеннего дождя.

В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод «Дня второго». Книга была снабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями, автор, например, прославляет коммунизм; но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи – «День второй» прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объяснять полупрошепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала: «Когда я вижу на сте-

нах “дуче, дуче”, мне хочется кричать от стыда...»

Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями: фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повырубили деревья, вместо них поднялись заросли колючей проволоки. Обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии «железная гвардия» громила лавчонки и грозила мадьярам, а в Венгрии приверженцы Хорти убивали крестьян и клялись, что завоюют Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савойе. Фашистская чума пересекала границы без виз.

Описывая путешествия по европейским джунглям, я говорил: «Проезжему кажется, что в Европе – война. Кто с кем воюет – сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми».

Перед моими глазами вставали картины поражения: Флоридсдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хеймверовцы...

Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни «Комитетов бдительности». Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Итали; у людей было такое настроение, что скажи им: «Вот фашисты», – они

пошли бы на танки с голыми руками.

Профессор Ланжевен и Ален организовали «Комитет бдительности», куда входили писатели, ученые, профессора; были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни, – Роже Мартен дю Гар, Бенда, Леон Поль Фарг, много других.

Жан-Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции.

В начале июня я отправился в Москву; снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом; я выбрал морской путь: Лондон – Ленинград. Со мною поехал Мальро – у него было много планов: «Межрабпом» хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко, потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку.

Советский пароход шел по Кильскому каналу. Я жадно разглядывал берег: вот фашистская Германия... На берегу стояли торговцы с большими сачками – предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон.

Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего; он поднял кулак – салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак – приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет.

Увидеть истину прежде, чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми.

В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью «Известий» получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было.

Как-то утром я заказал чай; официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса: чая я не получу, с сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал, попросил принести кипяток и чайник для заварки – у меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками: «И кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем...»

Я решил пойти к директору гостиницы. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли, выстроенные в шеренги, коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные в шуршавших лифах, с пышными наколками; по команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма из быта старого купечества.

Я проник в ресторан и увидел его преображенным: там предполагали торговать солонками с резными петушками, скверными иконами суздальских богомазов и васнецовскими богатырями на ларчиках, на брошках, на блюдах. Музыканты репетировали «Вниз по матушке по Волге...».

Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер: через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов.

Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников; это были очень богатые люди; коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помня урок, кокетливо улыбались, и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним; он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился: гостиница как гостиница: «Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан “Тройка”...»

(Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите?.. Это для иностранцев...» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед им подавали на чистой скатерти.)

Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которую озаглавил «Откровенный разговор». Я описал все, что увидел в гостинице «Националь», и сказал, что глупо выдавать Советскую страну за старый русский

трактир с вышколенной челядью и бутафорским надрывом. «Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: “Посмотрите направо – там старая церквушка” только потому, что налево стоит очередь... В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества: мы ведь только начинаем жить... Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестокого наследства, которое оставило нам прошлое. Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились... Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок...» Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе «Шарикоподшипник». Я знал капиталистический мир; там жгли и хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраивали погромы; словом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнусно, но и глупо.

Напомню дату: июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «ура»,

которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть – разве мог я предвидеть, как развернутся события? Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скованности еще не было, и редактор «Известий» Бухарин напечатал мою статью.

Я получил много писем: читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье. «Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как «Интурист» «обманывает иностранных туристов». Руководители «Интуриста» утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. Бухарин меня защищал. Я не знал о различных телефонных звонках – был возле Архангельска на лесозаготовках. Подоспели другие события, и про мою статью, к счастью, забыли.

Если я рассказал об этом комическом и не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в «Национале», я сам над многим задумался.

Впервые я вспомнил о коридорных, низко кланявшихся интуристам, в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал: мне хотелось ве-

речь, что речь идет об унижительном поведении некоторых людей, вроде описанного мной работника «Интуриста», о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюры оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада.

Я никак не мог понять, что значит «Запад»: для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет: Жолио-Кюри жил в другом мире, чем Бидо, профессор Бернал не походил на Мак-Артура, Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. «Запад»?.. Но разве Маркс не родился в Трире, разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада?

Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкопоклонства и раболепства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр камамбер в «закусочный», а ленинградское кафе «Норд» в «Север». Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая советская энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западноевропейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фра-

зу в моей статье о том, что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул: «Это, Илья Григорьевич, чистейшее низкопоклонство».

В 1949 году во время Первого конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков...» Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту – гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: «Вечерка»...

С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкопоклонство – не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора «Интуриста», еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в го-

роде Истра стоит небольшой бюст Чехова (Антон Павлович работал в земской больнице Вознесенска – так называлась до 1929 года Истра). Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местные власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки «Юманите»; одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову. Работник райсовета удивился: «Выходит, что во Франции Чехова знают...» Француженка ответила: «Конечно. Но я думала, что его знают в Советском Союзе», – она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника анютины глазки.

Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства, и человек, не уверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно. Наш народ не только первым пошел по трудному пути строительства нового общества, в некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, дурной живописи, недостатков в том или ином предмете обихода; стыдиться этого перед иностранцами не приходится; стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы;

они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раболепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба. А чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством полуроба, полузаязныки.

Я писал, что готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой диковинный праздник. Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников – Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне – молодой, мечтательный и, разумеется, насмешливый; я машинально повторял:

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства – все было прекрасно...

Начало я вспоминаю с улыбкой: неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты.

Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы, люди смотрели, узнавали некоторых, приветство-

вали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей.

Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров – «База курносых», работниц «Трехгорки» и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами и овощами; узбеки привезли Горькому халат и тубетейку, матросы – модель катера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями – всеми цветами ранней московской осени.

Я раскрыл книгу, ставшую теперь редкостью, – стенографический отчет съезда, просмотрел список делегатов; редкостью стали и участники Первого съезда писателей – из семисот осталось в живых, может быть, полсотни. Прошло тридцать лет, да и годы были нелегкими.

Я председательствовал на заседании, когда выступил участник Парижской коммуны Гюстав Инар; ему было восемьдесят шесть лет.

Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую крепкую женщину, колхозницу из Московской области; она говорила: «У меня самой муж. Я четвертый год – председа-

телем колхоза. Вы знаете, ведь председателя колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж – рядовой колхозник. Но он терпения набрался. Ему дают наряд – изволь его выполнить. Если не так делаешь, то я на правлении скажу. Не исправишься – трудодней не дам. Если еще не исправишься – из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам: скажут – расправилась с мужем, и нам не легче будет...» Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился.

Все делегации «предъявляли счет»: текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобразить Донбасс, изобретатели настаивали на героях-изобретателях. (Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность; появились сотни производственных романов. А читатели тем временем росли. Тридцать лет не прошли бесследно... Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят «Петра» А. Толстого, ткачихи плачут над «Анной Карениной», изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от «Тихого Дона» до «Старика и моря».)

Старый ашуг Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее, спеть стихи о съезде:

Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,

На славный съезд певцов пришел.

А.М. Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления, Андерсен-Нексе, когда его обступили пионеры, тоже прослезился.

Б.Л. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил – хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, могли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку».

Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей; восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Безыменский – страстными митинговыми речами, Кольцов и Бабель сумели рассмешить.

Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Ю.К. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений: «Ко мне вдруг неизвестно почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на

мне майка, я стал молод – мне шестнадцать лет. Ничего не надо. Все сомнения, все страдания прошли. Я стал молод. Вся жизнь впереди». Может быть, в тот же самый день, может быть, на завтра или через неделю я с ним обедал, и он печально говорил: «Я больше не могу писать. Если я напишу: “Была плохая погода”, – мне скажут, что погода была хорошей для хлопка»... Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем. Да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась; это было иллюзией, сном на празднике...

А.М. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое: «Историю фабрик и заводов», книгу «День мира», историю Гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть деловым: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события: фашистский путч в Париже, разгром шуцбунда. Присутствие революционных зарубежных писателей расширяло стены Колонного зала; мы смутно ощущали приближение войны.

Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и

некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы, она сказала, что молодой писатель Ли Вэйсэн был живым закопан в землю. Японский гость рассказал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Бределя – он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвиг Ренна, Осецкого. Можно ли было спокойно это слушать? Для того чтобы воссоздать настроение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите родины, сказал: «Вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших: Андерсена-Нексе, Мальро, Жана Ришара Блока, Якуба Кадри, Бределя, Пливье, Ху Ланчи, Арагона, Бехера, Амабель Эллис – и слал приветы отсутствовавшим: Ромену Роллану, Жиду, Барбюсу, Бернарду Шоу, Драйзеру, Энтону Синклеру, Генриху Манну, Лу Синю (сохраняю порядок резолюции). Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году; но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде.

Андерсен-Нексе просил советских писателей быть шире: «Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для

труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой... Художник должен давать приют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто, все равно по каким причинам, не может поспеть за нами».

В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жана Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта: «Товарищ Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма». Арагон, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве «Рембо и Золя, Сезанна и Курбе».

Мальро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы: «Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы и что фотография великой эпохи – это еще не великая литература... Вы, похожие друг на друга и все различные, как зерна, вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий».

Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции: «Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова, не

ездил бы в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и, наконец, не был бы здесь». Мальро страдал нервным тиком. Радек решил, что Мальро морщится от дискуссии: «У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко». Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика, конечно, не смог.

Выступали мои старые друзья: Толлер, Незвал, Новомеский. Рафаэль Альберти держался очень скромно и даже не попал в список знатных гостей.

О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Асеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами. Громче других шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове А.М. Горький, назвав Маяковского «влиятельным и оригинальным поэтом», сказал, что ему свойствен «гиперболизм», который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет агитки, о романтизме, о доходчивости, о многом другом.

Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников. Работа писа-

теля протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил «Пармскую обитель», но вовремя спохватился и отказался переделать роман. Тургенев, стараясь исправить некоторые стихотворения Тютчева, страдавшие, по его мнению, ошибками, нещадно их исковеркал.

Писатели порой (не очень часто) говорят друг с другом о литературных проблемах; эти беседы или споры помогают осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале, среди тушей и оваций? Не думаю. Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас – не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог.

Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимович, отвечая мне, сказал, что я так говорю «по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом».

Горький потом сказал мне: «Вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверно, мало читаете, что теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других – Тынянова, Леонова, Федина. А молодые... Они не только не умеют писать, не знают, как подступиться...» Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом: он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося Литературного института. Обидно мне другое – что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим, и зал замер: все знали, что Алексей

Максимович болен. Его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у него на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить – устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне: «Ему плохо. После смерти Максима он сдал. Не тот Горький...» Наверно, он был прав, а «того» Горького мне увидеть не удалось.

Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков.

«Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен... Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота “Моцарта и Сальери” – не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнули капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота – не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония... А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья...»

«Великие писатели прошлого века оставили нам опыт... Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести... Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы... Рабочий справедливо протестует против дома – казармы... Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?.. Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера XVII века писали яблоки, Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки...»

«Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочна легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступле-

ния, а удачи как реабилитацию».

Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить, с трудом себя узнаю на выцветших фотографиях, речь на съезде писателей меня удивила другим: мне показалось, что это цитаты из моей недавней статьи. А с тех пор прошло тридцать лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде О.Ю. Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации: в ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь тогда представить себе, что двадцать семь лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг пашей планеты?

Я тогда был вихрастым, задористым; высох, полысел, да и помягчел. И вот я повторяю в статьях, в этой книге мысли, высказанные в 1934 году. Может быть, я выжил из ума, напоминая старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора околочный его незаслуженно обидел? Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не доживу до того дня, когда вопросы, поднятые мною на съезде, устареют...

В 1934 году, после «Дня второго», мое имя стояло на красной доске и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен по уставу собраться Второй съезд писателей, у нас будет рай. На

съезде выступил О.Ю. Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев: «И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: “Вперед! Быстрее! Еще быстрее! Вперед, вперед!” Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждаются в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждаются в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы». Мы дружно аплодировали умной речи. Отто Юльевич был хорошим ученым; оракулом он не был.

Во время съезда группу писателей пригласили вечером на дачу А.М. Горького. Там я увидел, кажется, всех членов Политбюро, кроме И.В. Сталина. Я ни с кем из них не был знаком. Когда после ужина с непрерывными тостами все встали, М.И. Калинин, К.Е. Ворошилов и другие товарищи со мной заговорили; всех почему-то интересовала моя книга, написанная еще в 20-е годы, – «Бурная жизнь Лазики Ройтшванца»; книга им нравилась, но, к моему великому удивлению, они добавляли, что в книге почувствовали антисемитизм, а это нехорошо. Герой названного сатирического романа – гомельский портной, по воле судьбы занимавшийся многими профессиями, изъездивший много стран, горемыка, если угодно, духовный родственник Швейка. Л.М. Каганович сказал, что, по его мнению, роман страдает еврей-

ским национализмом. Я снова удивился. Потом он перешел на «День второй», упрекал меня за то, что я хожу среди котлованов и вижу не корпуса заводов, которые вскоре вырастут, а землянки, бараки, грязь. Я возражал. Под конец я сказал: «Главное сейчас – это разбить фашизм»... Возвращаясь поздно ночью в Москву, я думал именно об этом: с литературой будет трудно, очень трудно, может быть, два года, пять лет. Дело сейчас в другом.

Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотме, Вологде. Плыли на пароходах, носивших гордые имена: «Лютый», «Марксист», «Массовик», «Крепыш»... Пароходы шли медленно; люди рассказывали длинные истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными; казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врезается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье – кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы – лес шел по тихой Сухоне, по капризной Вычегде, по широкой Двине – вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский север, он меня сразу покориł нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотях, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела, – казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда – англий-

ские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников.

Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запанях, в порту людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью – не вечно улыбающихся ударников с Доски почета, а сложных, внутренне взрослых людей, и как бы ни был жесток быт, как бы ни возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами (порой воображаемыми), я радовался: видел, как растет наше общество.

Недавно, просматривая старые комплекты «Красной нови», я случайно попал на такие строки: «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии севера в 1934 году. Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру? Я читаю старые записи, стараюсь

восстановить в памяти лето 1934 года, не так уж давно это было, все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердил, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе – на контрасты она не скупилась.

Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла известкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек леса, щебень, пустыри. Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей.

А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ, и не стихийно – организовано. Помню разговор с И.Э. Грабарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот, писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению, – все равно машинам придется объезжать площадь, и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера; доводы не подействовали.

На севере я увидел, с каким иступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого-семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквях хранили картошку, сено, и, простоявшие триста-четырееста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру; «куклу» поломали.) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим». В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели Христы. На севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко; чаще всего мастера изображали Христа в темнице. (В испанском городе Вальядолид я видел скульптуру, очень похожую на великоустюжскую.) Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый симпозиум Христов; у некоторых были отбиты руки, ноги; они сидели и о чем-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старины, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество – глиняные бело-черные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь не было южной цветистости – все выглядело ясным, строгим.

Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров – «честянка», «мизгиречек», «речка», «медведка» – изображать тракторы. В Великом Устюге я познакомился со старым мастером, специалистом по черни Чирковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна, потом пришли из горсовета: «Раскрой твой секрет». Напрасно Чирков объяснял, что никакого секрета нет, дело не в производственной технике, а в мастерстве, в фантазии. Организовали артель и начали изготавливать безвкусные браслеты. (Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова, рассказал про резчика по кости Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Чиркова вызвали в Москву, но артель продолжала изготавливать те же браслеты. Потом Чирков умер.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.